

Новая Польша 11/2007

0: СЛОВАРНАЯ СТАТЬЯ: КОПАЛИНСКИЙ

Владислав Копалинский родился 10 июня 1951 г., а его появление на свет (на страницах сатирического еженедельника “Шпильки”) тут же заметил Юлиан Тувим.

Тувим, автор незабываемого у любителей литературных забав “Пегаса дыбом”, пожелал познакомиться с автором, который в лихом анализе стиха “Влезла кошка на окошко” спародировал его ученые анализы несерьезной поэзии (текст был озаглавлен “Буцефал на дыбах”). Он написал в редакцию, чтобы ему устроили встречу с “молодым многообещающим сатириком”. Каково же было его удивление, когда Копалинский оказался многоуважаемым Яном Стефчиком, с которым он, как с директором Польского радио, а потом главным редактором издательства “Читательник” много раз встречался по службе.

Ян Стефчик родился осенью 1940 г., когда немецкие власти издали приказ о переселении варшавских евреев в гетто. Прежде чем Владислав Копалинский стал Яном Стефчиком, он был Владиславом Стерлингом, сыном Самуэля (вероятно, так звучало имя его отца) и его жены Регины, урожденной Виллер, владевших фабрикой бумажных изделий в доме 8 по Электоральной улице.

Он родился 14 ноября 1907 года. С какого-то времени он стал рассказывать друзьям, что ему на 11 лет меньше. Я сама в это поверила. Но жена его друга Мария Ганц рассказала мне, что в школе ее муж Станислав сидел с Владеком Стерлингом за одной партой. А муж родился в 1907-м.

Так или иначе, у него было три жизни, но для нас, читателей и почитателей, он хотел быть Владиславом Копалинским, лексикографом. Это было самое счастливое его воплощение.

Ангел в жизни Яна Стефчика

Около двух десятков лет назад Копалинский одарил меня своей дружбой, и мы регулярно встречались за “чашечкой чего-нибудь”, в последнее время — в итальянской закусочной на Кошиковой улице, прямо возле его дома. Был у нас такой неписанный договор, что я никогда не расспрашиваю его об оккупационной и довоенной жизни.

— Псевдоним “Копалинский” я использую, — объяснял он мне, — потому что хочу отделить частную жизнь от работы, и намеренно о себе не рассказываю. Я даже не особенно люблю, когда кто-нибудь вспоминает фамилию Стефчик, хотя избежать этого, разумеется, не удастся.

Был он человеком сдержанным, не любил излишней, а эмоции держал на привязи. Кто знает — может, он давал им волю, с удовольствием декламируя стихи великих поэтов и пылко распевая довоенные шлягеры? Слух у него был замечательный, голос сильный, а судя по улыбкам прощавшихся с нами официанток, и они — хотя мы садились в самый дальний угол, — должно быть, слышали его выступления.

Иногда, однако, он испытывал потребность в более личных признаниях. Приступал он к этому как бы нечаянно, я едва успевала достать блокнотик (мне разрешалось приносить блокнотик, потому что с самого начала нашего знакомства было ясно, что отличная память у него, а не у меня).

Под датой 15 октября 2005 г. у меня записано:

— Во время оккупации меня хранил ангел. Я ничего не изменил в своем образе жизни, нормально ходил по улицам. Сменил только фамилию и адрес, переселился с Сенаторской, 17 на Чацкого, 10. Сначала я давал уроки иностранных языков, но это было рискованно. Узнал, что одна парфюмерная фирма ищет бухгалтера. Со временем я даже стал ею руководить. Я совершенно игнорировал оккупационную действительность.

— А ангел? — спросила я тихонько. Он молчал так долго, что я подумала, будто нарушила договор. Но, видно, нет.

— Из всей моей семьи я один уцелел. А из всей моей довоенной жизни — только два человека, в том числе Стась Ганц, сын знаменитого варшавского фтизиатра.

Снова молчание.

— Однажды я шел с моим любимым братом, он был только на семь лет старше меня, остальные братья и сестры были намного старше. Нас опознали. Я кинулся бежать — помню, убежал по Каноничьей. Он остался. Прямо на месте его расстреляли.

На службе радио и книгоиздательству

20 февраля 1949 г. Мария Домбровская записала в дневнике: “Пошла к пяти на радио (Уяздовские, 21) на черный кофе с литераторами (...) Единственное, ради чего стоило пойти, — заявление какого-то молодого Стефчика (директора программ), что „лучше всех для радио до сих пор пишет... Шекспир”. Для иллюстрации этого утверждения Стефчик прочитал сокращенную для радио первую сцену „Гамлета”. Я слушала как во сне”. Прежде чем музыкальные студии и радиотеатр переехали в маленький дворец на Уяздовских аллеях, радио уютилось в нескольких комнатах на Тарговой, 63.

— У наших потенциальных слушателей, — рассказывал мне Копалинский, — чаще всего не было радиоприемников, разве что они откопали спрятанные. Грабеж Западных земель еще не начался, и должно было пройти добрых несколько месяцев, прежде чем радио можно было попросту купить. Правда, сравнительно скоро, так как в интересах власти лежало, чтобы люди слушали пропаганду. Ну и установили на Тарговой громкоговорители через каждые 50 метров. Об изучении слушательского рейтинга никто тогда не слышал, но тогдашний директор радио, если шла интересная передача, выходил на балкон и проверял, сколько народу слушает.

Копалинский с чувством вспоминает, с кем он работал в эти первые послевоенные годы:

— Витольд Лютославский, Александр Малишевский, Роман Ясинский, Бронислав Дардзинский — это была наша команда, мечтавшая о распространении настоящей культуры. Некоторое время я любил эту работу, потом — надоело.

И когда в 1949 г. ему предложили перейти в “Чительник” на должность главного редактора, он не отказался.

Он занялся реорганизацией и модернизацией издательства, разделил его на отдельные редакции, на должность административного директора вытащил из Брюсселя Станислава Ганца, который был там консулом ПНР, добился постройки дома для сотрудников издательства в Повислье. По его инициативе вышли избранные стихотворения Болеслава Лесьмяна и с детства любимая книга — “Синдбад-мореход”. Он уговорил Парандовского переложить “Одиссею” прозой. И он же придумал серию “Нике”.

С тех худших сталинских времен запомнил его Владислав Бартошевский:

— Между двумя моими отсидками Копалинский предложил мне писать внутренние рецензии на книги немецких писателей. Мы, собственно, и знакомы не были, я тогда был никто. Но он, видно, знал, в каком я положении, знал, что я не могу зарабатывать. Это было для меня важнее, чем если бы он просто дал деньги. Он отличался культурой, эмоциональностью и сочувствием. Я сохранил о нем благодарную память.

— Мои возможности были ограничены, действовали всяческие нелепые запреты и приказы, — рассказывал мне Копалинский. — По счастью, можно было издать Пруса, Бальзака, Стендаля, русскую классику. Разумеется, люди переживали разочарование, но как долго можно его переживать? Надо делать то, что можно, и то, что стоит. А если нет — то эмигрировать или заняться торговлей.

— Издательство, — продолжал он, — было организовано по социалистическому образцу, окупаемость в расчет не входила. Мы печатали триста книг в год, работало у нас двести человек. Я осуществил первый, второй, третий издательский план и понял, что больше не выдержу.

Когда он уходил, его спрашивали:

— Что ты будешь делать? Откуда ты знаешь, что сумеешь писать? На что будешь жить?

С тех пор он стал — так он сам говорил — свободен. И одновременно кончились его финансовые проблемы. Ему уже не приходилось после целого рабочего дня, после собраний, совещаний и заседаний, по ночам переводить книги ради хлеба насущного.

После “Чительника” у него еще был краткий эпизод работы в Вашингтоне для Польского агентства печати (ПАП), и потом он уже никогда нигде не работал в штате.

Корреспондентом он стал, считая, что было бы интеллектуальной трусостью отказаться познать Америку XX века:

— Вашингтон, информационный центр мира, все агентства печати, с утра до ночи передающие тысячи депеш. Чтобы это описать, надо быть графоманом. Но если ты, как любой нормальный человек, терпеть не можешь писать, то тебе придется быть несчастным. Я не отдавал себе отчета в том, какое это идиотское занятие, и расплатился за это. Это был для меня такой же ужасный опыт, как годы перед войной, когда мне приходилось руководить семейной типографией. Но у меня нет причин жаловаться: я сам этого хотел, хотя мне не хватило воображения представить, во что я вляпаюсь.

Он начал добиваться, чтобы его отозвали. В конце концов притворился, что у него больное сердце, и только тогда ему позволили вернуться в Варшаву.

— Думаю, что меня не особенно любили в этом ПАПе, — прибавил Копалинский. — Я слишком мало писал: у меня такой характер, что я люблю писать сжато.

Вскоре после возвращения ему предложили делать свою радиопередачу. “Ответы из разных ящиков стола” он писал раз в две недели на протяжении 19 лет. И тут вдруг звонит ему редактор и говорит, что передача пойдет только раз в месяц, потому что “другим сотрудникам тоже надо на что-то жить”. — “Я вас утешу, — ответил Копалинский. — Добавлю вам еще мои четверть часа для ваших сотрудников”.

Он всегда был такой. Не ссорился, не торговался. Если нет, то нет.

Отец “надцатилетка” и “перетрудяги”

Еженедельные фельетоны в “Жиче Варшавы” — уже под фамилией Копалинский — он начал писать в октябре 1954 года. Он согласился писать в газеты, потому что, как объяснял мне, уже видны были первые признаки “оттепели”. Он был внештатником, в редакции у него не было ни стола, ни стула — он приходил и отдавал текст. На протяжении 21 года.

— Вначале, — рассказывал он, — “Жиче Варшавы” было неплохой редакцией, потом начало портиться. Когда в 1974 г. вышел очередной, уже пятый сборник моих фельетонов “Вестерн в автобусе”, редакция напечатала анонимную издательскую рецензию. Это был изумительный предлог поблагодарить их за сотрудничество. Нельзя всю жизнь писать фельетоны.

Хотя фельетон — форма очень личная, мы находим у Копалинского мало биографических деталей, мало о нем самом. Мы узнаём, что он любит гулять в Лазенках (“Лучший отдых наравне со сном, — писал он, — одинокая прогулка”), рассматривая этот парк примерно как свой двор. Отпуск он проводил в Казимеже или Неборове. Побывал в Исландии, России, Грузии, Англии, Ливане, США, Канаде, Италии. Обожал “Алису в стране чудес” и абсурдную поэзию Эдварда Лира. Ну и еще мы узнаём, что от довоенной жизни ему остались только толстые старосветские часы “Лонгин”, вечное перо “Монблан” и обручальное кольцо.

Его фельетоны — а написал их Копалинский около тысячи — по-прежнему остаются занимательным чтением. В них дышит дух здравого смысла и Тадеуша Боя, на произведениях которого он воспитывался. Среди всяких его благородных навязчивых идей мне больше всего понравились: пропаганда изучения иностранных языков, призывы издавать классиков в оригинале, совет широко пользоваться чековыми книжками (он писал это в 60 е годы) и идея построить в центре Варшавы подземные автостоянки (это он писал, когда на тысячу жителей приходилось четыре машины).

Удивительно, что, с одной стороны, в его фельетонах ощутим живой пульс времени, а с другой — в них совершенно не существует ПНР. Оттого что автор всегда интересовался вещами более прочными, чем текущая политика. Например, языком. Благодаря ему в польский язык вошло, например, как перевод английского “teenager” слово “настолятек” (дословно “надцатилеток”. — Пер.). Однако самый прекрасный неологизм Копалинского — “тырала” (существительное от глагола, означающего “тяжело трудиться”, “отдавать все свои силы”, “растрачивать себя”, т.е. “трудяга” или даже “перетрудяга”. — Пер.). “Словарник — это безвредный перетрудяга” — так определил представителей своей профессии выдающийся английский лексикограф XVIII века, автор “Словаря английского языка” и критического издания сочинений Шекспира Сэмюэл Джонсон.

Вначале Копалинский вовсе не думал составлять словари. Акушеркой этого замысла была его приятельница Мария Ганц. Когда она стала заведовать редакцией в издательстве “Ведза повшехна” (“Всеобщие знания”), то искала каких-то новых идей. Она и предложила Копалинскому составить “Словарь иностранных слов”.

— Я сделал кусочек одной буквы. В издательстве понравилось. Ну и провел над этим следующих два, может, два с половиной года.

Копалинский не останавливался на объяснении значения слова: петитом он добавлял сведения о происхождении, литературном и историческом “адресе” приводимых слов и оборотов. В следующих изданиях (сейчас их уже 30) он совершенствовал свой словарь, добавляя слова из области компьютеризации, электроники и т.п. и снабжая его обширными дополнениями с тематическими таблицами (созвездия, греческие боги, химические элементы и т.п.).

Чудо духовной общности

И все-таки невозможно, чтобы Копалинскому никогда раньше не приходило в голову составлять словари.

В своих фельетонах он страстно болел за возникавшие тогда “Большую всеобщую энциклопедию” и “Большой словарь польского языка”, писал о великих лексикографах, рецензировал польские и иностранные словари, а некоторые темы его фельетонов как бы предсказывали заглавия будущих словарей. Возвращающийся мотив эмансипации женщин — “Энциклопедию второго пола”, а охота на журналистов, коверкающих цитаты из классиков, — труд, который он напишет вместе с Павлом Герцем, монументальную “Книгу цитат из польской художественной литературы XIV-XX веков”.

Чувствуется, что он любил читать словари. Вот он для утех перелистывает “Античный словарь” Ламера; в очень личной и полной фантазии английской “Энциклопедии читателя” Бенета находит изложение “Потопа” Сенкевича как романа о “поселении крестоносцев в Польшу”, а в пользующемся замечательной репутацией энциклопедическом словаре Уэбстера, в статье “Copernicus”, — “по-немецки Kopernigk, по-польски Kopernicki [Коперницкий]” (и задумывается: “...кто подсунул старому Ноаму Уэбстеру такие сведения”). В другой раз он приводит “изюминку” из только что вышедшего в Ленинграде сборника иноязычных слов и выражений, использованных в русской литературе до 1914 года. Польский язык представлен там статьями “Jeszcze Polska nie zgin&